

закоулки

давид
чебанов

978-5-00289-250-1



1. Киото, Накагё, 9 марта 14:31



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Давид Чебанов

Закоулки

<https://litres.ru/74368043>

SelfPub; 2026

Аннотация

Пронзительный дебют, сотканный из случайных наблюдений и фрагментов путешествий. Сквозь реальные странствия — от Рейкьявика до Камакуры —

автор исследует пространство личной памяти: психозы отца, деменцию бабушки, опыт зависимости, попытку смириться со смертностью.

Содержание

ЗАКОУЛОК ПЕРВЫЙ: ПАРИЖ, МЕТРО «СТАЛИНГРАД»	4
ЗАКОУЛОК ВТОРОЙ: ПАРИЖ, САД ГОСПИТАЛЯ «СЕНТ-ЛУИС»	9
ЗАКОУЛОК ТРЕТИЙ: РЕЙКЬЯВИК, ЛАНДАКОТСКИРКЬЯ	11
ЗАКОУЛОК ЧЕТВЕРТЫЙ: ИСЛАНДИЯ, ВУЛКАН САКСХОЛЛ	16
ЗАКОУЛОК ПЯТЫЙ: ТОКИО, ИИДАБАШИ, КОИШИКАВА-КОРАКУ-ЭН	19
ЗАКОУЛОК ШЕСТОЙ: ТОКИО, КАНДА	24
ЗАКОУЛОК СЕДЬМОЙ: ТОКИО, СЭНТО В КОРЕЙСКОМ КВАРТАЛЕ В ОКУБО	28
ЗАКОУЛОК ВОСЬМОЙ: ТОКИО, МИНАМИ АОЯМА, BLUE NOTE ТОКУО	32
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Давид Чебанов

Закоулки

ЗАКОУЛОК ПЕРВЫЙ: ПАРИЖ, МЕТРО «СТАЛИНГРАД»

Худощавые силуэты, тонкие прямые брюки, сжимающие кости, разноцветные шляпки и шарфики, коляски и аккуратно завязанные косы. Палатки с бездомными, грязные залежавшиеся овощи, обвисшая белая рубаша на статной женщине. Она перебирает фрукты, ей бросают что-то в ответ на ломаном французском, отдавая кусок едва спелого манго. Красота!

Вот так и хожу по различным Рю, оглядывая полки магазинов, шероховатые палатки, бесхозную мебель. Садики, где молчат, веранды, где бурлит жизнь. Лебеди, парящие над Сеной, голуби, клюющие гравий. Нарядные швейцары, сутулые травокуры, тихие джентльмены, худощавые бегуны, облезлые пьянчуги – каждый движется в своем ритме жизни.

Прохожу суши-ресторан, где за одним столом сидят кореянка, нигерийка и алжирка. Потом ливанская закусочная, индийская прачечная, и так, сквозь сотни разрозненных осколков реальности, я выхожу к станции «Сталинград», где

темнокожие, сбившись в небольшую кучку, обсуждают непонятные вопросы, возможно, придуманные ими самими двадцать минут назад от скуки буднего дня.

Кукуруза жарится на углях в тележке, тягучий запах хэша вьется под носом, черные женщины в хиджабах бродят с тяжёлыми баулами, вывески витрин полны подделками брендовых сумок. Огрызок сэндвича с джамбоном, прилипший к грязному асфальту, ветхий продуктовый магазин, забитый под завязку, угрюмые палатки под вокзальным мостом, распластанные, как узоры берберских ковров, местные жители – крэкхэды со стеклянными глазами. Дешёвый фиолетовый хлопок, обтягивающий бедра, арабская мелодия из хриплого динамика, мясо, падающее ровными пластинами с вертела кебаба, усталые взгляды, пропитанные районной безнадёгой, клочья мусора, уносимые ветром, разбитые стеклянные трубки у баков, осколки бутылок. Каждая деталь этого чудного пейзажа говорит языком настоящего Парижа, совершенно отличного от глянцевых картинок и туристических карт.

Честно говоря, я влюбился и в такой город. Его стараются не замечать, замазать эстетским импасто. Но в таком Париже сокрыто то самое несовершенство жизни, которому сходу веришь, которое кажется родным, ибо всякое несовершенство успокаивает нас и разрешает самим быть несовершенными. Эдакий Антипариж.

Захожу в захламленный магазин пластинок и вижу прият-

ные взору заваленные полки. Перебираю винилы странных японских групп, с легким стеснением прошу продавца найти мне нужный эмбиент (а именно дуэт пожилых француженок Deux Filles), улыбаюсь, когда он возвращается со склада с заветным диском, после долгих уговоров отдаю ему купюру в двести евро, получаю выстраданную сдачу наличными – несколько смущенно-розовых, смятых купюр. Шагаю обратно мимо бездомного лагеря, прыгаю в метро, ожидаю поезд, сидя на мокрой синей сидушке в компании обветшало-бетона и автомата со сладостями.

Сажусь в вагон, оглядываюсь на людей, устало несущих свою судьбу: очкарика в клетчатой рубашке, арабскую маму с несколькими детьми и чуть скорбящим лицом, двух японцев, уткнувшихся в телефоны и печатающих витиеватые канджи, эталонных французов с кудрявыми волосами в прямых брюках.

Вагон трясется. Звук колесных пар нарастает, превращается в момент громкой симфонии, когда инструменты уже не отличить друг от друга, и остается только чистый мазок музыки. Слушаю симфонию, смотрю на свой персональный оркестр: то очкарик начнет свою партию с легкого шуршания страниц, то хором заплачут дети арабки, нетерпеливо ожидающие утешения, то французы решат вдруг громко поспорить на неведомые мне темы. Отзвуки едва доносятся сквозь гул подземки, но органично рифмуются с ним: на глазах разворачивается иммерсивный спектакль, который мы часто упус-

каем, заплутав в мыслях об уплате налогов, переходе улицы на нужный сигнал светофора (ярко-салатовый отблеск, ноги инопланетного пешехода за панельным стеклом едва шевелятся), планировании очередной встречи с полным осознанием бессмысленности реплик, которые на ней произнесем.

Выхожу на станции «Республик», оставляю позади себя оживленные веранды, столики, полные бесноватого смеха, недопитого вина и запаха дешевых сигарет – я прохожу сквозь, на этот раз стараясь игнорировать сей оркестр повседневности, пока не оказываюсь у своего дома. Чуть устал. Париж же не устает никогда: вечное движение и неразбериха. Концентрированная жизнь. Карабкаюсь по винтовой лестнице, ступеньки которой покрыты слоем несмываемой пыли, и наконец, закрываю день, наслаждаясь тишиной.

Звуки улицы вроде смягчаются, но спокойствия не дожидаться. Нервный взгляд в мелочи, невозможность утихомириться. Начало странствия, когда до конца невозможно окунуться в чистоту впечатления без отпечатка обыденности, напоминающей о повседневном страхе. То скрипнет старый паркет, то подует ветер из приоткрытого белого деревянного окна, то начнется безобразный дождь, который бесцеремонно разрушает чудные букеты у цветочного прилавка на другой стороне улицы. Так и проживаешь остаток дня: в иллюзорной тишине, полной деталей и суеты.

Как ни крути, белый цвет – сочетание всех существующих оттенков. Так и пустота, к которой приходит вечер, содержит

несметное число звуков, движений, картинок перед глазами.
Засыпаю, слушая непрекращающуюся песню Антипариза.

ЗАКОУЛОК ВТОРОЙ: ПАРИЖ, САД ГОСПИТАЛЯ «СЕНТ-ЛУИС»

Я сидел в саду, окруженном высокими стенами госпиталя «Сент-Луис», в этом непоколебимом островке спокойствия, о существовании которого, быть может, не догадываются даже коренные парижане.

Старое здание, с его чуть выцветшей известью и вкраплениями красного и желтого кирпича и сохранившейся изысканностью, кажется, повидало тысячи жизней, спасенных блаженной тишиной этого сада.

Здесь, в отличие от многих больничных окрестностей, время не пронизано ощущением приближающегося конца.

Я смотрел на двух француженок, сидящих на лавочке, — они говорили так тихо, что слова их тонули в шелесте листьев. Мне казалось, что дамы прислушиваются к самой возможности жить дальше, которая пока напоминает скорее обещание, чем свершившийся факт. И именно в этой зыбкости, в этой бесшумном течении их болезни, заключалась вся красота сада, который, будучи частью больницы, всё же жил по своим законам: не скорби и страха, а легкости восстановления, пусть и не обещанного окончательно.

Я видел обеспокоенных докторов, бродящих по саду с кипами бумаг — единственных людей, сохраняющих строгость

среди вальяжно раскинутых деревьев, едва заметного пения птиц и тайно тлеющих сигарет.

Бумаги докторов могли нести плохие вести, их лица могли вселять чувство надвигающейся катастрофы, их накрахмаленные белые халаты служили признаком безысходной формальности. Но несмотря на это, в этом саду привычные законы больницы переставали работать. У пациентов шел перерыв на настоящую жизнь, вне анализов и диагнозов. Смерть отступала!

ЗАКОУЛОК ТРЕТИЙ: РЕЙКЬЯВИК, ЛАНДАКОТСКИРКЬЯ

Первая прогулка в Рейкьявике. Морось, плечи трясутся от холода, в городе почти ни души. Шли по безмолвным улицам, озирались в попытке найти хоть малейший признак жизни, заглядывали в окна незнакомцев так, будто в узоре на их семейных сервизах в шкафах скрыты ответы на вечные вопросы. Чуть жутковато, когда никто не идет навстречу.

Из ниоткуда, посреди небольшого прибрежного городка, вырос огромный монолит – базальтовый готический блок церкви Ландакотскиркья. Его вертикали строгие, отрешённые, сурово пронзающие пустоту. Всё вокруг казалось меньше и уязвимее на его фоне: игрушечные рыбацкие домики, ветхий деревянный забор, измятая лужайка с футбольными воротами, полоса Атлантического океана, едва видневшаяся на горизонте. В сравнении с монолитом меркнул даже сплошной небосвод, зашторенный туманом. Единственное, что скрашивало всеобщую серость, – квадраты мозаики на гигантском витражном окне.

Центральная башня вздымалась вверх зубчатым утесом, поддавшимся кропотливой огранке. Эта церковь не была похожа на пламенный вихрь французских базилик, помпезную

строгость Ренессанса и выстраданное золото православных куполов. Никогда еще я не видел такого проявления христианства, на грани отшельничества и северного хладнокровия.

Эта церковь выглядела как надзиратель. Казалось, будто она предугадывает появление любого «закоулка», знает в лицо каждого рыжеватого исландца, ходящего в Kropan за батончиками с лакрицей, и каждый мой секрет, который я не в силах от нее утаить.

Среди этой тишины она вдруг закричала мне на своем языке, загрохотала колоколами, бесцеремонно заглушила последние крохи морского шума. Капли дождя били по лбу, и чем дольше я вглядывался в этот одухотворенный прямоугольник, тем меньше становились объекты вокруг. Все казалось незаметным в сравнении с этой базальтовой скалой. Она гипнотизировала меня, я не мог отвести взгляд, огибая глазами ее идеально ровные колонны, вслушиваясь в отрывистые колокольные реплики, не замечая ничего вокруг.

Этой церкви меньше ста лет, но чудом в ней запечатали вечность, и я чувствовал, как вечность эта со мной общалась, поведала мне древние тайны, не прося взамен ни слова. Предметы срастались и теряли прежние границы: и дома, и лужайка, и футбольные ворота, и белая табличка у входа в храм превращались в одну сущность.

Малое отражалось в большем, и большее в малом, а я стоял будто на выходе этого лабиринта отражений – маленький, бесцветный, случайно закатившийся шарик.

Недалеко от церкви виднелись каменные оградки небольшого кладбища, поросшего неопрятными деревьями с тонкими и кривыми стволами. Надгробия срастались с природой, вовсе не показывая скорби и печали об ушедших. Природа мягко вбирала в себя мирской опыт, впитывала траур ушедших для того, чтобы родить новую жизнь.

Быстро замёрзнув, пошли с женой в сторону магазина Bonus, продолжая осматривать Рейкьявик. Город выглядел абсолютно пустым и грозным, скрывающим за углом миниатюрные, недоступные фрагменты жизни. По улицам бродили «выжившие» после закончившегося дождя.

Ощущалось, что люди здесь не обременены социальным неравенством. Закрыв базовые потребности, они словно перешли к более возвышенным размышлениям – глубинной рефлексии о выживании на клочке посреди ничего.

Острее всего тут, конечно же, стоит вопрос «маленького человека» в больших просторах. Будучи изолированными на гигантском острове, исландцы не стесняются сделать что-то маленькое и не пытаются превысить величие окружающей их природы. Так появляются винтажные магазины в подвалах жилых домов, уличные галереи между подъездами, одинокий прилавок с хот-догом посреди старой гавани, концертный зал на пятнадцать человек, где японка играет на сямисэне, магазин с экспериментальным винилом и эмбиентом, работающий в обед с понедельника по пятницу (и то не всегда открывающийся вовремя).

Люди здесь, кажется, не боятся того, что их замыслы не станут грандиозными. Напротив, чувство собственной малости перед вулканами и тектоническими плитами скорее подстегивает их – выдвигает на первый план вопрос о том, как человек сосуществует со средой, а не господствует над ней.

Ландшафтность – вот что прежде всего ощущается в местном творчестве. Когда мы с женой, проезжая на машине бескрайние исландские равнины по дороге к квартире, слушали группу Low Roar, то чувствовали, насколько эта музыка создана в гармонии со средой. С первых же секунд тебя настигает тонкая скандинавская укромность: представляешь, как солист Райан смотрит на простирающийся вид из окна белого деревянного дома, продуваемого ветром. Недалеко пасутся лошади и овцы, на ферме выращивают томаты. Ближайшая заправка в десяти километрах – наверняка в безызвестном селении, где из развлечений только придорожное кафе с прогорклым кофе и коричневыми булочками. Капли настукивают по окну. Песня льется неспешно, утопая в эхе и протяжных синтезаторах. Голос едва слышный, стесненный и одновременно пронзительный. Необъятность острова и крохотность человеческих терзаний в нем.

Кажется, не раз у меня всплывало ощущение, что хочется забиться куда-то в уголок, положить в тарелку один кусок колбасы вместо целого цыпленка, почитать маленькое эссе вместо толстого тома, записать в блокнот пару слов вместо целого предложения? Рейкьявик – место, где не стесняешься

выбирать меньшее и потом изучать его под микроскопом.

Может быть, настоящая сила людей тут не в стремлении к величию, а в том, чтобы принимать свою малость и делать её осмысленной?

ЗАКОУЛОК ЧЕТВЕРТЫЙ: ИСЛАНДИЯ, ВУЛКАН САКСХОЛЛ

Перед моими глазами расстилалась мшистая равнина – мягкая желто-зеленая, почти инопланетная текстура, уходившая вдаль до горизонта, где разъедалась безжалостными волнами Гренландского моря.

Когда-то здесь полыхали лавовые поля исландского вулкана Саксхолл. Теперь бесплодные и потухшие территории населяли местные мхи и лишайники, казалось, обретшие полноценную власть над биомом, сумевшие подчинить себе даже первозданную вулканическую породу.

Ныне кратер уже давно на пенсии – облезлый, уложенный спать многослойными одеялами мха, не вселяющий страх и даже не собирающий жадных взглядов туристов. Он служит гигантской лестницей, безмолвной глыбой, используемой лишь для того, чтобы как можно выше взглянуть на бескрайние поля мхов.

Металлические ступени подо мной издавали тяжелый скрежет, я поднимался вдоль неотесанных и обугленных пород, моросил дождь, капли неспешной барабанной дробью прерывали покой многовековых камушков. В воздухе пахло свежей минералкой – типичным запахом Исландии, сме-

сю океана, геотермальных источников и подводных потоков магмы.

Серый туман падал на равнину многотонной наковальней, застилающей хмурое небо. Возле меня было, дай бог, пять человек, чудом добравшихся до этих мест, и конечно, любимая жена. Мы наблюдали за необъятным царством мхов, восхищались глубиной оттенков и тем, как туман идеально подчеркивает дымчато-зеленые участки полей. В одной точке мох превращался в кислую ржавчину, в другой отливал ярким изумрудом, в третьей представал новорожденным, скромным влажно-салатовым холмиком.

Эти переливы, сквозь которые местами проступала черная порода, создавали сочетание цветов, почти невозможное где-либо еще. Болотные, приглушенные оттенки удивительным образом сохраняли внутреннюю яркость и словно рассказывали историю того, как мхи постепенно завоевывали эту землю. Никогда прежде я не встречал такой глубокой, дикой палитры. Она казалась живой инфекцией, без остатка захватившей равнину.

В таких местах ты чувствуешь себя мелким человеком, абсолютно далеким от процессов, меняющих мир. Ты не можешь обернуть время вспять, остановить затухание вулкана, вновь разжечь магму, подув на застывшую почву. То, что тебе остается, – быть благодарным за возможность увидеть хотя бы микроскопический фрагмент многовекового цикла.

Приятное смирение пронизывало всю поездку по Ислан-

дии. Вулканы гаснут, ледники тают, водопады размывают скалы. Наблюдая за итогами грандиозных сдвигов, ты проникаешься «огромностью» мира и мизерностью твоего личного вмешательства. Это восхищает, вселяет уныние и в то же время учит довольствоваться тем, что есть внутри и рядом: утренними чашками горького кофе, теплыми прикосновениями после любви, бесцельными прогулками в солнечную погоду и томиками книг, что так незначительны по сравнению с эпосом, слагаемым природой.

Такой калейдоскоп чувств, казалось бы, должен сбить с толку, отправить на внутренние поиски. Но, напротив, глядя на эти мхи, я находил успокоение, как художник, который, смешав на деревянной палитре с десятков бушующих красок, находит нужный в своей умеренности оттенок.

Рука жены коснулась моей, и в этот жест вместился весь масштаб происходящего. Огромная, древняя земля и миниатюрная, убаюкивающая связь двух влюбленных стали чем-то цельным. Появилось чувство, что даже самые маленькие детали – редкие цветы у обугленных камней, дрожащий ветер, шепчущий что-то на незнакомом языке, капли дождя на мхе, тихое дыхание притаившихся людей – все они связаны с загадочной сверхсущностью, которая далека и непостижима, но все же благосклонна и принимает в дар любое живое проявление, вне зависимости от его значимости.

Я полюбил свою малость!

ЗАКОУЛОК ПЯТЫЙ: ТОКИО, ИИДАБАШИ, КОИШИКАВА-КОРАКУ-ЭН

Кажется, в нас заложили неверные представления о старости. В России старение – дряхлость и немощность, помноженные на православное смирение. Старость принято скрывать: седые волосы заливают фиолетовой краской, морщины замазывают. Помню, нередко старики обижались, стоило им уступить место в транспорте. В те моменты (пыльное сиденье с узором, неработающая кнопка «Stop», синий поручень, покачивающиеся люди) я чувствовал гнет лет и уныние, даже едва заметный стыд за прожитый опыт, когда смотрел в глаза такого старика. Эта случайная встреча в автобусе вселяет страх, заставляет ассоциировать физическое увядание с чувством дискомфорта.

Я и сам безумно боюсь чувства приближающейся смерти, что неудивительно, когда растешь в подобном менталитете. Порой подсознание диктует образы из недр воспоминаний, а я безропотно записываю: моя восьмидесятилетняя бабушка, в крайней стадии деменции, безостановочно смеется без всякого контакта с реальностью. Пугающая картина так глубоко засела в моих воспоминаниях, что стала невидимой среди остальной вереницы мыслей, будто солдат в запыленной

форме цвета хаки, сливающийся с окопом в густой чаще.

Психоделический смех бабушки настолько спрятан во мне, что я неспособен отличить его от других узоров, сплетаемых моим мозгом в моменты перелистывания воспоминаний. С одной стороны, я помню эти сцены достаточно четко, могу даже воссоздать интерьер захламленной перестроенной квартиры с осыпающейся белой краской, ковром на стене, заплесневелыми стенами, запахом куриного бульона на кухне, толстым монитором компьютера, прикрытым тряпкой, чтоб не пылился. С другой, я совершенно неспособен осмыслить это воспоминание: мозг закопал его так глубоко, что позволяет проникать в него только визуально, без эмоционального вовлечения.

То, что остается на поверхности, – страх старости, неминуемой потери контакта с объективной реальностью, постепенное превращение в существо, совсем непохожее на человека в рассудке и здравии.

Лучший исход стареющего человека – сохранить физическую и ментальную форму, но все равно нести груз уныния, провожать последних живых друзей и, сложа руки, дожидаться своей очереди. Жизнь твоя заполняется пустотами.

Впрочем, страшные мысли создает среда, где смерть изначально окрашена в черное, где культурные течения, в том числе религия и обряды, навевают вокруг некоторых понятий ауру траура – безысходность, неотвратимость. На контрасте впечатляют иные культуры, вроде островных (на ум

приходит индонезийская), где похороны превращены в сакральный праздник, на котором поют, танцуют, крутятся в эйфории от того, что отправляют душу человека в новое, лучшее для нее место.

Я шел с женой по набережной неподалеку от станции Иидабаши. Тихий, зажиточный район в центре Токио, со спокойной рутинной и непривычным для мегаполисов чувством бытовой медлительности. С миниатюрными двухэтажными коробочками, синтоистскими храмами, зеленой набережной, редкими прохожими, гордо возвышающимися университетами и парой оживленных кварталов с кафе и караоке. Всего в нескольких минутах наша стартовая точка – отель в районе Кагуразаки (в прошлом главном издательском квартале Токио), места, где самым громким звуком в девять вечера было дребезжание колес чемоданов, катящихся по блестящему иссиня-черному асфальту.

Япония исцеляла мое восприятие старости. Я постоянно встречал доброжелательных стариков с глубокими морщинами, собиравшимися в лучики вокруг улыбок, видел солидные седые стрижки, подчеркнутую строгость костюмов, исключительную вежливость, мудрость и даже детскую искру во взглядах пожилых людей.

Если в Исландии я видел в «маленьком человеке» скорее сурвивалиста, крошечную фигуру среди распластанных гор и вулканов, то тут я повсюду встречал значимость «малого» из-за явного коллективизма, где не столько важен личный

успех, сколько вклад в малое общее благо. Японское сознание подразумевает значимость индивида, даже если он обычный уборщик – достаточно быть исполнительным, маленькими шажками приносить пользу обществу и ценить свое дело, вне зависимости от его прибыльности и социального статуса.

Старость – подведение итогов, которые общество нередко сдавливают чувством «нереализованности».

Стариков в капитализме принято отвергать, как уже отработавшую машину.

Но, гуляя по японским кварталам, я не встретил ни одного старика и ни одной старушки, в чьём лице не было бы приглушенного блаженства и мудрости – даже если человек всего лишь продавал билеты в ботанический сад (хотя внешность, как мы знаем, обманчива).

От станции Иидабаши дорога шла вдоль высокой каменной стены. Слева проходили редкие прохожие, справа тянулся длиннющий ряд гинкго с плотной, ярко-жёлтой листвой. Листья чуть осыпались, асфальт отливал мягким, хрупким слоем солнечного света.

Я думал о японских стариках, об их размеренности и непоколебимой устойчивости, и мысли эти рифмовались с природой. Вдалеке виднелся сад Коишикава с живописными ландшафтами: красные клены и японские сосны сплетались в объятиях, ручеек петлял меж идеально круглых камней, плотный воздух был наполнен ароматом зелени, озаренной солнцем. Конец ноября – последнего месяца «жизни при-

роды», перед тем как она погрузится в холодное небытие, закончит очередной кружок цикла, умрет в надежде снова переродиться. Но даже в момент своего заката пейзаж жонглировал красками, показывал самые яркие оттенки, словно секреты, которые достает из шкатулки бабушка, чтобы напоследок впечатлить внука.

Старость так похожа на этот круговорот, в котором цвета, перед тем как окончательно затухнуть и слиться с пепельно-серым, предстают в многообразии палитр, в сплетениях слепящего восточного солнца с тенями толстых стволов многолетних деревьев. Краски достигают высшей точки – становятся самыми глубокими, будто впитали весь опыт прошедшего года.

Человеческой жизни в последние мгновения перед разрушением не подобают уныние и скорбь. Гуляя дальше вдоль гоэна, я смирялся со страхом и начинал видеть в старости момент концентрации опыта и красоты, который не уйдет в пустоту, а найдет продолжение в следующих циклах. Но дом мой совсем далеко...

ЗАКОУЛОК ШЕСТОЙ: ТОКИО, КАНДА

Я мчал сквозь ночной и бесконечный Токио, благополучно миновав самые шумные магазины торговой улицы Акихабара с ее слепящими неоновыми вывесками, мигающими огоньками игровых автоматов, переполненными стеллажами и парой тысяч случайных глаз, обнимающих фигурки и томики манг.

Хаос оставался позади: крики толпы растворялись, путь освещали только редкие фонари, вывески комбини, металлические отблески и фары проезжающих по шоссе автомобилей. Все, что меня окружало, – длинная дорога, вдоль которой выстраивалась шеренга небольших белых прямоугольников. Почти неотличимые здания выполняли роли старых гостиниц, офисов и закрытых магазинов неведомых товаров.

Район Канда казался полузаброшенным, оттого и милым: еще пару минут назад меня поглощал многолюдный рынок электроники, а теперь я был одиноким странником на промышленной улице в сердце города, и только сидящий на лавочке кайшайн в синем пиджаке был моим компаньоном. На глазах его сверкала узкая оправа, а в левой руке он держал недопитую банку сетю. Возможно, именно я нарушал его медитацию.

В моих проводных наушниках играла малоизвестная песня Рюичи Сакамото – «Artificial Paradise». Бесконечная, утилитарная. Глухая бочка утопала в синтезаторных наслоениях. Вспоминается, как продавец в Tower Records неприятно покосился на меня, когда я спросил, есть ли у них этот альбом на виниле.

«Я такой даже ни разу не видел», – читалось в его взгляде, и даже сдержанное татэмаэ не помогло ему скрыть негодования. Ничего, надеюсь, заученный вопрос о наличии «коно рекодо га аримасу ка» поможет мне в будущем.

Ночь умело склеивала белые цвета и металлические текстуры города в приглушенное серебро. Все казалось однородным, почти сливающимся друг с другом, отражения в дождевых лужах выглядели как дрожащие капли воды в металлической ложке.

Я шел по мосту через канал, над которым нависала гигантская эстакада, почти полностью перекрывая небо над водой. Получалось замкнутое, изолированное пространство, где свет исходил не сверху, как мы привыкли, а с других сторон, отражаясь от колонн эстакад, окон бизнес-центров и самого канала. Надо мной плясали трубы и балки. Эстакада, прикрывая воду металлическим покровом, уносилась вдаль к другим огням города, где, видимо, еще скрывалась жизнь, от которой я на время сбежал. Я шел, а прямоугольники не заканчивались: Токио представал в своей бескрайней геометрии выверенным индустриальным механизмом,

погрузившимся в спячку после тяжелой рабочей недели. Ни одного бросающегося в глаза здания, ни одной лишней черточки – только тянущаяся вдаль серебряная улица, моментально гипнотизирующая своим однообразием. Я хотел запомнить каждый квадрат, зарисовать канджи со всех вывесок, навсегда сохранить эту улицу, где не было ни архитектурных шедевров, ни работающих магазинов, ни крошки мусора.

Токио часто называют хаотичным городом, но эта улица точнее передавала его порядок. Её прямолинейность и умеренность отражали и ментальность жителей, покорно стоящих в очередях, молчащих в метро, обставляющих бутылками воды пьяных кайшайнов, не успевших на последний поезд, воздвигающих монолитные домики, стоящих в курительных зонах, чтобы не портить воздух на улице.

Этот порядок – и дар, и проклятие. Смотря на опустевшие улицы, я долго думал о наших советских родителях, разочаровавшихся в своих утопиях, о причинах, о том, почему нельзя создать идеальную гармонию в обществе, почему даже у самых отлаженных механизмов, так нравящихся мне и так отсвечивающих серебряным блеском в ночи, есть темная сторона.

Строгий порядок создает сильный стыд за несоответствие, табу – соблазны, приоритет группы – отчужденность индивида, национальная общность – замкнутость, избегание гайджинов, чужаков.

И как сильно я ни любил бы местный перфекционизм, я никогда не смогу сам по-настоящему ему соответствовать, а уж тем более прочувствовать всю ту боль, которую этот перфекционизм причинил обычным людям, которые оказались принудительно заперты в тюрьме иерархий и негласных договоров.

Я мгновенно влюбился в токийскую планету, на которую приземлился абсолютным Лунтиком, который говорит задом наперед, стоит не на той стороне эскалатора, носит обувь сорок четвертого размера, всегда кладет свежую голубику в продуктовую корзину, привык выкидывать мусор в бак возле дома и ни разу не ходил в караоке вместе с коллегами по кайше.

Иногда мы влюбляемся в явление за его непривычность, за то, насколько оно выходит за рамки наших представлений о мире. Но тут было иначе: пунктуальность и системность так органично встраивались в мою идентичность, но их внешние проявления и производные были мне абсолютно чужды. Вспыхнувшее противоречие лишь подстегнуло идти дальше и искать секрет закономерностей на дремлющей улице.

Спокойной ночи, серебряный Токио!

ЗАКОУЛОК СЕДЬМОЙ: ТОКИО, СЭНТО В КОРЕЙСКОМ КВАРТАЛЕ В ОКУБО

«Извините, я старая японская бабушка и совсем не говорю по-английски», – было написано почти выцветшим карандашом на помятом, пожелтевшем клочке бумаги, который через маленькую щелочку протянула сутулая старушка, протяжно мыча и всем видом выказывая пренебрежение. Нервное покачивание головой, тянущийся звук «у-уун», полное отсутствие зрительного контакта, будто моей просьбы не существует. А я всего-то хотел спросить, где взять полотенце.

Предварительно разувшись и положив кроссовки в деревянную ячейку с металлическим замком, я стоял в узкой комнатке, запах которой походил на смесь старого лака, хозяйственного мыла и влажного дерева. Вход закрывала бумажная занавеска норэн с выцветшим иероглифом. Именно здесь, в сердце корейского квартала, я решил познать настоящий опыт японской бани – сэнто.

Сэнто появились в Японии как публичные бассейны, где люди могли недорого искупаться, поскольку у многих домов не было собственных ванн. Даже сегодня просторная ванна в японской квартире встречается крайне редко, и потому сэн-

то по-прежнему пользуются спросом.

Я нажал пластмассовую кнопку на автомате, вставил помятую купюру в пятьсот йен и кое-как выпросил у старушки полотенце, но получил взамен только маленькую, желтую тряпочку. Я не понимал, как ею можно вытереться, пока не выяснил, что её кладут на голову, чтобы защититься от перегрева, или используют для прикрытия интимных мест.

Дальше меня ждала зона омовений, где кафельные стены образовывали четыре ряда душевых. Душ следовало принимать, сидя на морщинистой деревянной табуретке, обливаясь водой из тазика. После отсека с душевыми шло главное помещение с несколькими ваннами с разной температурой воды, как раз и представлявшими суть сэнто.

Главную стену украшала потрёпанная мозаика с журавлями, парящими над белоснежной вершиной Фудзи, на потолке мягко дрожал жёлтый свет ламп, вода в бассейнах (легкий, средний, почти кипятки) была молочной, густой от растворенных минералов и хлорки.

Я сидел в среднем по нагреву бассейне, окруженный восемью японцами. Чувствовал пристальный оловянный взгляд за моей бестолковостью, неуклюжестью в каждом движении, напрасной попыткой просчитать следующий шаг и не выделяться среди толпы. Ох, как же я выдавал свою инопланетность!

Мне оставалось лишь смотреть в ответ – рассматривать сморщенные, миниатюрные тела стариков, их округлые го-

ловы, покрытые жёлтыми тряпочками, их расслабленные и одновременно до жути напряженные лица, их облезлые плечи, погруженные в молочную воду. Ситуация наполняла меня восторженным дискомфортом: я был заперт среди абсолютных незнакомцев, пронзающих взглядом каждую татуировку, инородную деталь тела.

Ощущение чужака мне даже льстило, ибо нигде на земле иностранца не рассмотрят так внимательно, как в японском сэнто. Чувствовал себя лишним, будто я пробрался в потайное убежище, где такие, как я, появляются раз в десятилетие.

Здесь проходила та самая граница личного и коллективного, о которой я размышлял все эти дни. Я вторгся в чужую рутину и распорядок, и даже если делал все исключительно по инструкции, как того требуют японцы, все равно выглядел белой вороной среди синих журавлей.

Но со временем дискомфорт испарялся, я чувствовал, как пар оседает влажными комьями над мозаикой, как вода в ванне растворяет душевный груз, как моя отличность становится мелкой, незначительной, как тепло источника прикрывает рутинный холод коллектива.

Я спокойнее отнесся к своему отличию, переставая искать причины, почему меня не примут за своего. Укреплялось понимание, что мир не обязан был подстраиваться. Я оставался русским армянином среди японцев, и в этом больше не было неловкости: им не нужно было понимать меня, а мне их.

Наступил момент внутреннего примирения, и я продол-

жил греться в сэнто. Не успел и заметить, как остался в этой ванне совершенно один, только узоры мозаики подглядывали за моим ритуалом.

ЗАКОУЛОК ВОСЬМОЙ: ТОКИО, МИНАМИ АОЯМА, BLUE NOTE TOKYO

Тем вечером я сидел в культовом токийском джаз-баре Blue Note Tokyo и слушал концерт Andre 3000. В прошлом он рэп-легенда, участник дуэта Outkast. Ныне свихнувшийся флейтист-импровизатор, играющий скомканную пародию на фри-джаз в компании перкуссиониста, клавишника и еще нескольких музыкантов. В этот день он давал три сета по часу, в разное время.

Его музыка была абсолютно нелепой в академическом смысле. Но Андре, будучи дилетантом, не знающим всей математики нот, о чем он открыто признался на самом выступлении, прекрасно понимал эмоциональную сторону музыки, и оттого ноты его звучали как короткие реплики, отрывки из фраз незнакомцев, которые так едко въедаются в голову, что не можешь их забыть.

Впрочем, трюки его быстро наскучили, и неопрятные словечки, сказанные флейтами и кларнетами, переставали нести хоть какой-либо смысл. Как писал Кобо Абэ: «Я не такой уж тонкий ценитель музыки, скорее ревностный потребитель». От скуки я погрузился в транс, покачиваясь из стороны в сторону, наблюдая за волнистыми движениями барабанной

щетки с ее приглушенным шелестом, темными кожаными креслами, бокалами шампанского, японцами, сидящими по струнке, Андре, издававшим странные визги и вопли.

Единственные, кто разнообразил это утомительное откровение, — два пожилых австралийца. Седые, в странных спортивных кроссовках и невзрачных куртках, они извивались, как кобры заклинателя, и добровольно гипнотизировались тайной звука. В общем, всем видом выдавали открытость, которой так не хватало в клубе, полном джазовых формальностей.

Дикий жанр, перевернувший каноны век назад, успел сам обрасти клише: виски-сауэр с тремя кубиками льда, облегающее вечернее платье пепельного цвета, восклицательный знак в конце делового письма, проигранная фишка в блэкджеке, сигара, аплодисменты после бурного соло на саксофоне, такси, полуподвальный свет, сыют с красным ковролином, огни мегаполиса, дорожки.

Бунт превратился в упорядоченный набор черт и привычек, и даже сумасбродный Андре со своим нигилизмом не мог привнести в здешние устои что-то новое, особенно учитывая страсть японцев к порядку и стандартизации. Любой джаз в сидячем пространстве превращался в стерильное священнодействие, роскошную прибаутку для обеспеченной публики, которой в целом и неважно было, какая музыка играет. Ожидаемое разочарование.

Недолго думая, я решил провести остаток вечера с ав-

стралийцами и их дикостью. Их звали Шелдон и, допустим, Джин. Неожиданно к нам присоединилась моя знакомая Маша из Петербурга – она буквально выхватила меня из разговора с дикарями сразу после концерта. Ее появление шокировало: я даже не надеялся встретить в Токио, на джазовом концерте, кого-то из знакомых. Какова вообще вероятность такой встречи?

Нашим русско-австралийским сообществом мы отправились на поиски идзакаи, обходя дизайнерские бутики Аоямы и общественные курилки, обсуждая гениальность Андре и странность его музыкальной коммуникации. Я из вежливости вторил ошеломленным австралийцам, хотя сам был не в восторге от выступления. Но их эмоции быстро захватили и меня. Уже через десять минут я и сам блаженно вспоминал увиденное, осознавая, что оно стало началом магии.

– Do you want this one? – Джин сходу, без лишних церемоний, протянул мне таблетку с *****.

Я вежливо отказался.

– No, thanks. I used to smoke every day and felt like a useless piece of shit. My life became too routine, like I couldn't see colours.

Когда последние слова наконец сорвались с языка, точка в конце предложения ощущалась железобетонной.

На секунду он опешил, но тут же проявил сочувствие к моей трезвости:

– Oh, I understand you. **** rehab three times here and there.

Crazy stuff. I've regretted all that stuff.

С Шелдоном же диалог пошел легче. Он стал травить байки про электронных музыкантов из Чили, русских эскортниц на Бали, жизнь в элитном городке Биллинаджел у Тихого океана, Ветхом Завете (тут я чуть запнулся, не понимая его выкриков про old testament), и собственных приключениях в Японии. Большинство историй я, конечно, забыл.

Шаг за шагом мы вновь проживали и наши путешествия в Японию, вспоминая увиденное и пережитое.

– So... what's good in Tokyo for you? – улыбнулся Шелдон.

– The way people walk, – начал я, – it's quiet. Even in a huge city. The structure, the order... that's calming. In Moscow, it's always about chaos. Like flies buzzing around.

– Bloody hell, that's a good point of view, mate! Gotta say, I reckon it's no shock we ran into each other at Andre's gig, – прокричал Шелдон, так нуждающийся в мельчайшем поводе повысить голос на всю улицу.

И хоть я всем видом показывал влюбленность в Токио, в тот день меня привлекала противоположность: два одичалых австралийца, не думающих категориями приличия и манер. Они плыли по течению, но не стеснялись себя настоящих: громко хохотали, прыгали, смело разговаривали с незнакомцами и вели себя так, будто мир вращался вокруг них.

Наша русская подруга стремительно откололась, и я с удовольствием продолжил тусить с дикарями.

Мы стояли в курилке и курили Mevius с экстрахимозной

кнопкой, по-моему, со вкусом дыни. В те дни я чувствовал сильнейший никотиновый голод, и любая общественная курилка в Японии выглядела алтарем, сакральным местом излечения. Хотя бывали и моменты, когда я заходил, полный надежд в курилки у больших вокзалов и даже не мог докурить половину сигареты – уж слишком сильный был запах табака, уж слишком прижимались друг к другу японцы, пытавшиеся скрасить несколько минут обеденного перерыва.

Благо, курилка была на открытом воздухе, и можно было вполне насладиться ужасным процессом. Мы продолжили обсуждать религию. Я рассказывал про армянский монастырь Гегард, высеченный в прожженных солнцем скалах и о том, как я молился в нем в пещере без света, с тонким ручейком родника, прорезающим тьму.

По мере рассказа курилка пустела – японцы старались как можно скорее покончить с делом, чтобы не слушать неприлично громкие демагогии на незнакомом языке.

Еще одно мгновение, и в компании из ниоткуда появился новый человек – метис-калифорниец, чуть арабской внешности, с тонкой линией волос на бороде. Он чуть покачивался. От него веяло виноградным саке.

– Oh, you're talking about Armenia... – воскликнул он с интересом. – Where are you from? Armenia is a future Palestine, I guess...

Его резвый тон тут же сменился на траур. Два австралийца на секунду опешили: американец и русский принялись об-

суждать Карабах, геноциды и экономические невзгоды...

– Yes, I'm Armenian, but I'm from Russia, – запоздало ответил я на его вопрос.

– О, так вы говорите по-русски? – внезапно он заговорил на русском с минимальным акцентом. Я стоял в ступоре, пытаясь осознать сюрреалистичность ситуации.

– Okay, I should go... – протараторил он, касаясь губами фильтра.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.